



Станислав РАССАДИН

Ох, как я рассвирепел — назад тому, страшно сказать, почти сорок лет, когда гостевал в легендарной Тарусе, сидел в староинтеллигентской компании, и вдруг открылась дверь и неизвестная мне старуха в байковом лыжном костюме, едва войдя, воскликнула: «Ну, Анька

сдурела! Назвала Блока тенором!»
А только-только в «Литературной газете», где я служил, нам удалось чудом (тогда это было именно чудом, преодолением неодолимого) напечатать стихи Ахматовой, в которых как раз и были произившие меня строки: «...Тебе улыбнется презрительно Блок — трагический тенор эпохи».

*Век. — 1996 —
№ 10. — С. 11*

Обиделся я и за стихи, и за «Аньку», не понявши сперва, кто позволил себе этакую фамильярность: старуха оказалась Надеждой Яковлевной, вдовой Мандельштама и подругой Ахматовой, причем отношения их были как бы пробой теснейшей дружбы Анны Андреевны с Осипом Эмилевичем: «Его отношение ко мне определялось нашей дружбой с Наденькой». Правда, как выяснилось потом, мое юношеское чутье не совсем меня обмануло: я сам, уже близко узнав Надежду Яковлевну, еще не раз слышал от нее об «Аньке», но выдавшие их вдвоем утверждают, что иерархия была. «Наденька» — да, но «Анна Андреевна».

И в то же время: «Ты, Анька», говорят, стихи хорошие пишешь, — сказала в одной из последних ее больниц санитарка и на вопрос, откуда она это взяла, ответила: — Даша, буфетчица, говорила». А то еще — вспоминаю устный рассказ, слышанный мною от С. И. Липкина. Тому довелось вскоре после постановления ЦК 1946 года, полуинициально жившего Зощенко и Ахматову, узнать, как его обсуждали на политзанятии в ленинградской прачечной. И одна из работниц, слушая, как пропагандист пересказывает

доклад Жданова и, словно улику, приводит вслед за партийным вождем ахматовское: «Все мы бражники здесь, блудницы...», поняла все по-своему и по-бабьи вступилась за Ахматову: «Вот говорят про нашу сестру: «Б... б...», а что делать, если ты одинокая и мужиков на всех не хватает!» И Анна Андреевна, которой Липкин рискнул пересказать эту историю, от души смеялась, оценив сочувствие незнакомки.

Дурной тон — умиляться простоте и демократизму великих; а какими еще им, спрашивается, быть? Высокомерие — отличный знак ничтожества. Ни один настоящий поэт не получает удовольствия от своей «элитарности» и недоступности для «Даши-буфетчицы»; напротив, саму свою избранность он ощущает как задолженность перед теми, к кому не снизошел Бог. Так, по крайней мере, в России. Но судьба Ахматовой слишком уж резко и грубо швырнула ее... Вниз? Вернее сказать, в народ, в общую долю:

*Показать бы тебе,
насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой
грешнице,
Что случится с жизнью
твоей —*

Королева Лир

Тридцать лет назад умерла Анна Ахматова

*Как трехсотая, с
передачею,
Под Крестами будешь
стоять
И своею слезой горячею
Новогодний лед
прожигать.*

В признании и в изгойстве, в благополучии и нищете оставаться собою — вот признак высокой души. Царственной, можно сказать, — но в каком смысле?

Из воспоминаний:
«Юрий Герман разлил коньяк, подал Анне Андреевне рюмку и провозгласил:
— За нашу Анну Андреевну, за нашу королеву-бродягу! — и поцеловал ее руку.

Губы Анны Андреевны чуть дрогнули в улыбке.
— Спасибо, — сказала она».

За что «спасибо»? За «королеву»? Или за «бродягу»? Но как это разделить?

Еще один питерский прозаик, друг и Германа, и Ахматовой И. М. Меттер сказал, что она была схожа с иным королем-бродягой, с шекспировским Лиром, характером и судьбой: «все потерять — и остаться королевой». «Неторопливое величие духа», — замечательно формулирует Меттер, вот чем она «заслонила» от оскорбительной беды».

Да, королева Лир — причем отнюдь не пугаюсь неча-

янного каламбура, ибо Ахматова в самом деле была еще и королевой лир. В том привычном, почти уже неметафорическом смысле, в каком Пушкин сказал о сути своей поэзии: «душа в заветной лире», а Есенин, словно бы нелогично уступив «всю душу октябрю и маю», как оказался, кое-что оставлял лишь себе одному: «но только лиры милой не отдам». А что за душа для поэта — без лиры? Без заветной?

...Любопытно было бы собрать антологию русских стихотворений, посвященных памятнику. Собственному. Сколь резко выявились бы в таком соседстве характеры, высказались самооценки, определилось именно заветное!

Свой «Памятник» есть и у Ахматовой. В гениальном «Реквиеме». И место, и символическое назначение его определено с твердостью королевского вердикта:

*А если когда-нибудь
в этой стране
Поставить задумают
памятник мне,
Согласье на это даю
торжество...*

Ну, не королевский ли — снова и снова скажу — жест?

*...Но только с условием —
не ставить его
Ни около моря, где я
родилась:*

*Последняя с морем
разорвана связь,
Ни в царском саду у
заветного пня,
Где тень безутешная
ищет меня,
А здесь, где стояла я
триста часов
И где для меня не
открыли засов.*

Затем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громы ханские черных марусь, забыть, как посылала хлюпала дверь И выла старуха, как раненый зверь.

Любимец Анны Андреевны Бродский, «наш рыжий», как она его называла, не раз высказывал сожаление, что в русской поэзии гармонически-светоносная традиция Пушкина слитно с тотальной победил, оттеснила, подмяла традицию Баратынского с его углубленно-скрытым трагизмом. Не стану вдаваться в специальную тему, скажу только: Ахматова — это природная пушкинианка, поистине дитя гармонии, на которое навалились дисгармония жизни в той степени, что и в страшном сне не могла привидеться ни Баратынскому, ни Вяземскому, никому из меланхоликов нашего XIX века. Но Ахматова до конца осталась верна светоносной гармонии, не отдав

своей лиры ни власти, ни бедам, стремящимся искалечить душу. Больше того. Парадоксальным... Да что здесь за парадокс? Наоборот, естественным для поэта образом сама бедственная судьба, сама трагическая реальность не перенастроили ее лиру, а обогатили нотами сострадания и сопричастности, не сужая, а расширяя область любви.

*Нет, и не под чуждым
небосводом,
И не под защитой чуждых
крыл,
Я была тогда с моим
народом,
Там, где мой народ, к
несчастью, был.*

Эти строки 1961 года ею взяты как эпиграф к «Реквиему», создававшемуся в 1935—1940 годах, и — снова, снова, снова! — это «с моим народом» может показаться (на сей раз всего только может) обращением с трона: дескать, «мой добрый народ». Да и пусть себе кажется; надо лишь сознавать, что это сказано «королевой-бродягой», изгойкой, разделившей судьбу тех миллионов, что были изгоями в своей стране. И в словах — не проклятие, даже не отчаяние, а близость и любовь, обретенная близость, возросшая любовь, то, что помогает жить.